

Сергей БОРОВИКОВ

ЗАПЯТАЯ-23

В русском жанре-83

”

«В ресторане Олеша, сидя за столиком по соседству с Клычковым, громко сказал:

– Квартиры у нас получают всякие контрики и кулачье, а Олеше, сыну человеческому, негде голову приклонить.

Клычков встал, подошел к Олеше и смазал его по щеке.

– Вот тебе за публичный донос, – промолвил он и, выдержав краткую паузу, съездил по другой, прибавив:

– А это тебе за кощунство». (Николай Любимов. Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний.)

У Сергея Антоновича Клычкова, талантливого писателя¹, друга Конёнкова и Есенина, как повелось с суда 1923 года по шумному делу четырёх поэтов, обвиненных в антисемитизме, так и сложилась репутация черносотенца без достаточных на то причин. Я не занимался этим специально, просто сама его близость с Мандельштамом говорит о многом.

Тогда, в двадцать третьем, товарищеский суд ограничился общественным порицанием, но Алексея Ганина расстреляли в 1925-м, Сергея Клычкова в 1937-м, Петра Орешина в 1938-м.

А Юрий Олеша как начал каяться-завидовать, так до конца жизни мужества и не обрёл, но литературно скукожился.

”

Хотя я и много лет числюсь по критическому ведомству, никогда не сознавал эту якобы принадлежность. У меня не было, нет, и уж конечно не будет одной из главных родовых черт критика: определённости позиции. Мне и по жизни мешала и продолжает затруднять существование необходимость любого выбора, а в критической-то работе без позиции – никуда. Само слово противное, какое-то сексопатологическое. И когда в семидесятых я угодил из-за пребывания в редакции журнала «Волга» в национал-патриотическое стойло, то какое-то время чувствовал облегчение, достаточно знать *наш или не наш*, и – долой сомненья. Но, как говорится, наукой природу не перешибёшь, и пришлось излечиваться от навыка сквернейшей определённости. Впрочем, этим опытом я уж делился, а вспомнил его, наткнувшись на текст Романа Арбитмана «Cash из топора»², о книге Виктора Топорова «Похороны Гулливера в стране лилипутов: Литературные фельетоны» (СПб.: Лимбус пресс, 2002. – 496 с. (Инстанция вкуса)).

Да... славное было времечко, когда еще не остыли перестроечные и последующие страсти и ещё не наступило царство общего патриотического единения вокруг власти. Я тогда отозвался на другую книгу того же Топорова «Двойное дно. Признания скандалиста» (М.: Захаров; АСТ, 1999).

¹ См., напр.: «Бездарному Лебединскому “Неделю” написал талантливый Клычков – неудачник-символист, очень образованный, приписанный к кулацким писателям. «Неделя» получилась. [Клычков –] былинный красавец XVII в.» (Харджиев. Разговоры. Публикация и примечания – Ильдар Галеев // Знамя. 2023. № 12).

² Знамя. 2003. № 11.

– 464 с.)¹ и позволю себе свою рецензию процитировать, нет, скажу по старинке – *поцитовать*, что на мой вкус благозвучнее.

«Мемуары в моде. “Вагриус” и другие издательства длинными сериями выпускают воспоминания известных актеров, политиков, литераторов.

Имя Виктора Топорова вряд ли знакомо большинству потенциальных читателей. Широкую известность в узколитературных кругах переводчик Топоров (переводил Байрона и Киплинга, Рильке и Уайльда) приобрел газетными выступлениями в “Независимой газете” и прохановском “Дне литературы”. Литературные недруги уподобляли его Невзорову и Коржакову. И вот перед нами книга скандалиста о себе. В рассказе о детстве, юности присутствует то, что называется “цветом времени”: ленинградско-питерская атмосфера 50-60-70-х годов, нравы студенческие и писательские, круги неформалов, переводчиков, трагические или трагикомические судьбы поколения молодых шестидесятников, спившихся, позбиших, уехавших. Однако, нрав мемуариста таков, что не склонен пролить слезу над ранней урной, его взгляд едок и ироничен. К тому же, даже и при ностальгических воспоминаниях, скажем, о функционировании знаменитого кафе “Сайгон”, Топоров не устает подчеркивать собственную особость, отдельность от любой тусовки: “меня пребывание в стайке не устраивало”.

Этот принцип распространяется им и на политические воззрения, которые, тем не менее, на деле приводят его в стан “патриотов”, что писатель мотивирует неизбежностью государственной идеологии, полного отказа России от прозападного пути развития. “У меня нет ни союзников, ни тем более начальников ни в патриотической среде, ни в коммунистической... нет, строго говоря, и единомышленников. Нет по элементарной, хотя, может быть, и своеобразной причине: я воспринимаю как неизбежное, а значит, и обязательное, то, что политикам и политическим публицистам левой ориентации представляется желательным и оптимальным. <...> мысли противоположные, искренние или нет, представляются мне пагубными. Я хотел бы проголосовать за Явлинского, а вернее, я хотел бы жить в стране, в которой можно было бы проголосовать за Явлинского”.

Значительное место в книге занимает тот вопрос, с которым Советская власть якобы покончила еще в 20-е годы (см. роман И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок»). Еврей Топоров позволяет себе не только отличные от либерального мейнстрима взгляды, но и полностью противоположные, враждебные ему. Порою и впрямь кажется, что делает это он единственно ради скандала. Но только порою, ибо скандальный характер высказываний писателя если не снимается, то отодвигается на задний план его поисками не шюминутных и, тем более, не конъюнктурных ответов. “Есть вопросы, для взвешенного ответа на которые следовало бы уродиться марсианином. Слишком сильно небеспристрастие отвечающего. <...> Слишком велик соблазн подойти к явлениям одного порядка, но разной направленности с двойным стандартом. <...> Осложняет разговор и беснование – на обоих краях авансцены – людей, на “пятом пункте” раз и навсегда помешавшихся. В их насадных заполошных выкриках, причитаниях и проклятиях взаимоуничтожаются правда и ложь, добро и зло, любовь и ненависть, сострадание и обида”. Топоров хочет быть до конца беспристрастным (всегда ли удастся это ему – другое дело), он во всем и всегда стремится разглядеть *pro* и *contra*, может быть, отсюда название его книги? Насколько убеждают независимость и беспристрастность Топорова в “глобалке”, настолько неустойчив он там, где пишет о бытовом, личном, о знакомых и близких, друзьях и недругах. Удивляет его мелочная нередко злопамятность по неадекватным поводам, как, например, подробная личная история козней и интриг на пути вступления автора в Союз писателей. Много эпизодов, где автор в драке, на любовном фронте, в злослычии непременно победитель. В злослычии он и в самом деле мастер, но стоило ли приводить столько пусть лихих, но и оскорбительных эпиграмм на здравствующих людей, чьи фамилии любезно сообщаются читателю? Стоило ли в качестве характеристик употреблять немудрящие определения вроде дурак, сволочь, жулик? Что ж, *poblesse oblige* – положение обязывает, и надо оправдывать и сложившуюся репутацию, и рекламный подзаголовок книги. Впрочем, вся бытовая панорама, где в причудливом

¹ Общественное мнение. № 10 (15), октябрь 2000.

хороводе промелькивают подворотни, портвейн, КГБ, кафешки, лекции, барышни, педики, стукачи, драки, блёв и прочая, тоже и не в последнюю очередь придает повествованию ярко выраженный привкус эпохи того, что в начале рецензии я назвал цветом времени, где каждая краска – и черная, и голубая, – может быть временно определяющей и необходимой».

А поскольку мой земляк Арбитман, увы, не так давно унесённый ковидом, в принципе иначе отнесся к питерцу, я позволю себе и его почитать, но покороче, поскольку номера «Знамени», в отличие от «Общественного мнения», есть в Сети.

«Скандальные инвективы стали теперь не просто безопасны (максимум дадут в морду), но и довольно прибыльны: из всех разновидностей литературной критики читатель массовый признавал только крутое “мочиловое”, которое неплохо оплачивалось...»

Так на петербургском горизонте возник экс-переводчик (говорят, раньше недурной), ныне профессиональный литбуян Виктор Топоров, начавший с ходу устанавливать в литературе свою табель о рангах, звезда левых, правых и виноватых. Родовая фамилия критика-киллера сразу стала выглядеть эдаким мрачноватым псевдонимом, зримым напоминанием о другом жителе Петрополя, вытолкнутом на берега Невы с целью нарубить немного бабок». (Я ни тогда, ни сейчас, не знаю кто это.)

«Статьи в прохановских “Завтра” и “Дне литературы” не остались незамеченными. “Хорошо ругаться можешь!” – по-ленински радовались патриоты, прощая Топорову за размашистость ударов и остроумие даже знание иностранных языков и неарийское происхождение». (А здесь я не понял отсылки критика к Ильичу, но вспомнил удачное обыгрывание Семановым фамилии критика с кличем Чернышевского: «К Топорову зовите Русь!»)

И, скажем, если и меня, как и Арбитмана, коробила грубость Топорова по адресу питерских коллег, то нижеследующий возмутивший его перечень имен мне по душе.

«Андрей Сергеев “извлечен из литературного небытия нелепым присуждением Букеровской премии” (Сергеев несколько лет назад трагически погиб, но траурной сносочки-2002 мы не дождемся). Что стихи Бориса Чичибабина “лишь по неразвитости общего поэтического вкуса сходят за поэзию”. Что Александр Кушнер “всегда писал плохо”. Что Лев Рубинштейн – “тихая картотечная зануда”. Что Анатолий Найман – “некондиционный стихотворец”. Что Генрих Сапгир – “никак не фигура”. Что Даниил Гранин – “не совсем писатель”. Что Михаил Веллер – “самовлюбленный и самоуверенный подражатель” Довлатову. Что Юрий Любимов – “показушник и мастер политических и кулуарных спекуляций”. А есть еще “сграфоманивший Саша Соколов”, “никому ни в каком качестве не интересны Пьецух”, “какой-нибудь Эмил Брагинский”, “человеконенавистник” Владимир Маканин и прочие, живые или мертвые, но одинаково виноватые перед Топоровым».

Только ведь и сам Арбитман ругатель был не из последних. Его либерально-демократический ригоризм не менее государственно-патриотического содержит опасное отрицание любой справедливости суждений из принципа *наш-ненаш*. Однажды мне пришлось задать Роману неудобный для него вопрос, когда, выступая в аудитории Фединского музея он аффективно уличил в плагиате Алексея Н. Толстого, якобы буквально списавшего своего Буратино с «Приключений Пиноккио» Карло Коллоди. Он не ответил мне, читал ли сказку итальянца. И к чему читать, если знаешь заранее, что Толстой бяка, каша, сталинский прихвостень, какому и воровство к лицу. Но двойной или более комизм ситуации был в том, что я-то знал, насколько разны во всем две сказки, и ещё я знал и про явно неведомый Арбитману случай реального плагиата Толстого у Карела Чапека. Поначалу он объявил, что хочет лишь приспособить к русской сцене чешскую пьесу, но при публикации в 1924 году представил свою роль уже иначе. *«Написание этой пьесы предшествовало мое знакомство с пьесой “Рур” чешского писателя К. Чапека. Я взял у него тему. В свою очередь тема “Рур” заимствована с английского и французского. Мое решение взять чужую тему было подкреплено примерами великих драматургов».* Здесь граф юлит, что с досадой воспринял Горький: «С его (Чапека) пьесой “RUR” случилось, на мой взгляд, нечто нехорошее и, пожалуй, небывалое в русской литературе. Посылаю Вам пьесу Алексея Толстого “Бунт машин”. Хотя Толстой и не скрывает, что он взял тему Чапека, но он взял больше, чем тему, Вы убедитесь

в этом, прочитав пьесу. Есть прямые заимствования из текста Чапека, а это называется словом, не лестным для Толстого, и весьма компрометирует русскую литературу. Лично я очень смущен» (М. Горький И.И. Калиникову. 1 июня 1924 года)¹. Я это к тому, что у Арбитмана были основания порассуждать о моральной, скажем безразмерности Алексея Николаевича, и жаль его спешки в неведомой ему области.

С Топоровым мы сошлись не только во многих литературных оценках, что обнаружилось при нашем недолгом, но плотном пивном общении в гостинице «Олимпийская» (1999), где мы находились как члены жюри премии Аполлона Григорьева, учреждённой Академией русской современной словесности АРСС. (Годом раньше в жюри, определяемым жеребьёвкой из 38 её членов, входил и Арбитман).

Давно уж упразднена вместе с премией академия критиков после того, как от неё отказался Росбанк, не бывает уж жеребьёвок, нет среди живых ни Топорова, ни Арбитмана, и не возьмусь гадать об их возможной *позиции* в наше новое и смутное время, когда Росбанк-то жив, а вот критический задор, и не только у критиков, безнадежно испарился.

””

*Напрасно Вы мне не сказали,
Что наши чувства надо скрыть,
Что Вы другой уж обещали
Навеки верность сохранить.
И пишете мне в утешенье,
Что вечно ведь нельзя любить,
Что это было увлечение,
И я должна о Вас забыть.*

*Быть может, правы Вы глубоко,
Разумно поступили Вы,
Но это было так жестоко,
Что, не простившись, Вы ушли.*

*Пройдут года, и мы забудем
Случайный, радостный порыв,
Мы никогда не скажем людям
Про нашу встречу и разрыв.
Но с тайной болью сожалея,
За эти годы много раз
Еще я вспомню то мгновение,
Когда увидела я Вас.*

1944

Не смог здесь придраться ни к одному слову. Образцовый романсовый текст. Но как сумел его написать не русский поэт, а родившийся и живший не в России еврей-музыкант Оскар Строк? Ну, ладно, его же слова к исполняемым по шалыпинскому определению «глупым песенкам» Петра Лещенко, но танго «Былое увлечение» написано специально для Клавдии Шульженко и долгое советское время было редким обращением к запретным чувствам слушателей.

¹ Цит. По: А.Н. Толстой. Материалы и исследования. М., 1985. С. 158.

”

Однажды нетрезвое хулиганство моих приятелей могло обернуться делом политическим.

Хоронили деда моего друга. Что это было в 1980 году я сейчас узнал из интернета, где есть фото могилы его бабушки, мамы и деда на Еврейском кладбище Саратова.

Поминки Илья устроил в кафе «Ветерок» на Набережной, а назавтра меня вызвал в свой кабинет Шундик, и я, ещё не понимая причины, но чутко пересрав, на вопрос, был я вчера на каких-нибудь похоронах, на всякий случай стал подробно врать про еврейские поминки на еврейском кладбище, живописными деталями отводя от себя вероятность причастности к происшедшему. А случилось то, что придя поздно вечером в редакцию, Николай Елисеевич увидел висевший на ручке входной двери похоронный венок с черными траурными лентами. Чтобы не гадать, он тут же вызвал соседа, старого кагэбэшника Бердова, чтобы тот занялся поиском врагов «Волги».

И хоть вскоре дело заглохло, я рассказал о нём тоже сразу пересравшему Илюшке, который уже знал от авторов опасной шутки – Сашки Лебедева и Вовки Тартера, как они, возвращаясь из «Ветерка» по набережной, увидели на стене дома №3 редакционную вывеску, решили для потехи использовать венок, захваченный из кафе. Илья последними словами крыл шутников, да и меня за бдительного шефа.

”

В те годы каждой осенью в Саратове случался табачный дефицит, и объяснялся он тем, что на «Табачке» плановый ремонт. И снабжались мы с Илюшей у торговки по имени Наденька, безногой говорливой женщины, сидевшей у входа в домишко на задах Сенного рынка, у которой был комментируемый ею выбор, так, на вопрос о болгарских сигаретах «Дерби» и «Джебел» (с медовым вкусом) она отвечала, что лошадки прискакали, а пчелки ещё не прилетали.